

Феномен советского консерватизма: историософское обоснование*

В. М. Камнев, Л. С. Камнева

Санкт-Петербургский государственный университет,
Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

Для цитирования: Камнев В. М., Камнева Л. С. Феномен советского консерватизма: историософское обоснование // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2019. Т. 35. Вып. 1. С. 43–55. <https://doi.org/10.21638/spbu17.2019.104>

В статье проект «великого восстановления» (*Restauratio Magna*) Мих. Лифшица рассматривается в горизонте более общего процесса, охватывавшего в Советской России 1930-х годов все сферы общественной жизни, от экономики до философии и искусства. Целостное осознание этого глобального процесса восстановления классических идеалов и традиционных норм формировалось в 1930-е годы только у Мих. Лифшица и в кругу его единомышленников. Рассматриваемый в статье феномен советского консерватизма также рождается в этом процессе восстановления. Изучение этого феномена, его оценка имеет важное значение для гуманитарных наук, так как позволяет избавиться от односторонних подходов. В статье раскрыты сходства и различия дореволюционных и советских форм консервативного мировоззрения. Своеобразие советского консерватизма заключается в том, что он долгое время довольно мирно сосуществует с марксистскими идеями, весьма далекими от традиционного представления о консерватизме. В то же время именно это сосуществование консервативных ценностей и марксистских идей предопределяет противостояние дореволюционному консерватизму, так как идея возврата к прошлой России является заведомо неприемлемой. Первые признаки начала формирования советского консерватизма — возвращение к традиционным нормам семейной жизни в государственной политике и постепенный, но бесповоротный отказ от различного рода экспериментов в образовании и в воспитании. В политической сфере советский консерватизм давал о себе знать в великодержавном внешнеполитическом курсе, в роспуске Коминтерна, нацеленного на реализацию всемирной революции, в восстановлении института патриаршества и в некоторых других шагах. Феномен советского консерватизма играл важную роль в мобилизационной политике государства как во время мировой войны, так и после нее.

Ключевые слова: консерватизм, марксизм, идеология, догматизм, либерализм.

Оценивая в целом консервативные воззрения Мих. Лифшица и его единомышленников из «Литературного критика», нельзя забывать, что самые отвлеченные идеи в этом круге рождались как отклик на наиболее злободневные проблемы эпохи. Хотя теоретические интересы этого круга сосредоточивались главным образом на эстетике и литературной критике, эстетика не была единственной допустимой

* Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Проект № 18-011-01042 «Консервативные идеи в советской философии и литературе (круг М. А. Лифшица)».

© Санкт-Петербургский государственный университет, 2019

формой для самых сокровенных идей так называемого «течения». Проблема классического искусства расценивалась Мих. Лифшицем как ключевая проблема эпохи, через решение которой можно было выйти не только к самым сложным вопросам онтологии и гносеологии, но и к острейшим вопросам социального и политического характера.

Обращение к классическому искусству, к классическим формам человеческой культуры вообще было связано с тем обстоятельством, что «ситуация, сложившаяся в постреволюционной России, заключала в себе возможность того, что условно можно назвать прогрессивным возвращением назад. Вообще, революция в ее подлинной сущности для Лифшица не абстрактное радикальное отрицание, а, напротив, “сила хранительная”. Шанс на успех революции заключался в выполнении ею программы, которую Лифшиц назвал *Restauratio Magna*...» [1, с. 24]. Великое восстановление классики рассматривалось в качестве одного из аспектов более глобального процесса, охватывавшего в той или иной мере все стороны общественного бытия Советской России 1930-х годов — экономику, политику, науку, культуру, искусство, философию и т. д. Сам этот процесс едва ли контролировался властью, которая в те годы, как известно, стремилась контролировать все; направленность, характер, конечные цели этого процесса оставались для обитателей партийного олимпа такой же загадкой, как и для рядового обывателя. Иногда этот глобальный процесс не без оснований называют консервативной революцией, и с этим определением можно согласиться при условии, что советская консервативная революция не была точной копией консервативной революции в Германии, а оба эти феномена воспроизводили некую общую модель, восходящую, возможно, к религиозно-философским концепциям *катехона*, «удерживающего», к той функции сохранения, которая возлагалась на ставший христианским Рим при перенесении в неопределенное будущее обещанного второго пришествия Спасителя. Аналогия легко распространяется на постреволюционную Россию, где постепенное осознание того, что апокалиптическое событие всемирной революции состоится не в ближайшие годы, порождало потребность в сохранении и восстановлении традиционных норм и ценностей.

Признаки этого глобального восстановления иногда обнаруживаются в самых неожиданных местах, например в демографических процессах [2] или в детской литературе. «Детская литература... совершенно необычным образом сумела ответить на запросы сталинской консервативной революции и обеспечить эту революцию целым набором фундаментальных политических концептов... сконструированная “страна детства” стала фундаментальным антропологическим протезом устройства социальной солидарности и размерности сознания в рамках глобального процесса сталинской консервативной революции. Более того, сама сталинская консервативная революция многим этой революции детства обязана. Можно даже сказать, что “утопия у власти” располагается совсем не там, где ее обычно ищут, не в идеологическом начетничестве коммунистических клише и формул “Краткого курса”, а в этой самой детской литературе, старательно стирающей всякую свою идеологическую подоплеку» [3, с. 96].

Можно утверждать, что целостное осознание этого процесса восстановления формировалось в 1930-е годы только у Мих. Лифшица и в кругу его единомышленников. И оценка этого процесса была у Мих. Лифшица положительной: «...именно возможность применения старого для новых целей создает силу революционного

движения и социализма... С чисто философской стороны абстрактно общее революционной идеи обретает силу от опоры на реальные классовые интересы, на массовый эгоизм, личную заинтересованность, конкретику... Итак, старое в новом — источник силы, преувеличенно новое — источник слабости, в ней происходит потеря действительно нового и восстановление действительно старого. Взаимный переход противоположностей, мера и трагедия» [4, с. 52]. Этот процесс восстановления, открывающий «возможность применения старого для новых целей», играет ключевую роль для понимания всего советского периода истории: «30-е годы — сложное время. Говоря военным языком, это был “встречный бой в темноте”, и столкновение тенденций, возникших в это время, еще самым неожиданным образом скажется в будущем. Разумеется, затор... не был и, видимо, не мог быть снесен даже той волной уравнительности, кот(орая) дала себя знать в изв(естных) каждому полит(ических) явлениях этого времени. Исторически так называемый культ личности был только пеной на этой грязной волне, и понимать его как создание одной какой-то демонической личности было бы далеко от научного взгляда на историю. Но после ломки и смены протагонистов, кот(орые) открыли дорогу восстановлению классической традиции Маркса и очистили (?) ленинизм от совершенно чуждых ему идеологичес(ких) направлений антиподов Ленина, те тенденции, кот(орые) создали затор двадцатых годов, снова вернулись и к концу следующего десятилетия создали непреодолимую (?) силу догматической идеологии» [4, с. 104–105]. Цель нашей статьи — извлечь из этих утверждений Мих. Лифшица некоторые выводы методологического характера и попытаться применить их в оценке феномена советского консерватизма.

Та оппозиция «догматики — либералы», которую имеет в виду Мих. Лифшиц и которая сыграла весьма важную роль в разрушительных процессах 1980-х и 1990-х годов, сохраняет свое влияние и в исторических исследованиях советского периода истории России. Отметим, что сама эта оппозиция может быть выражена в разных формах (например, в виде оппозиции «западников» и «славянофилов» или «почвенников», оппозиции «демократов» и «патриотов» и т. п.), но значение противопоставления этих крайностей не меняется, так как на самом деле оно определяется не идеями, которые отстаивает та или иная сторона, а острым характером противоречия, рождаемого этим противостоянием. Характерно, что ни одна из сторон оппозиции не желает признать в своих противниках достойных уважения оппонентов и, как правило, объясняет их убеждения неразвитостью нравственных достоинств. В отечественной интеллектуальной истории оппозиция либералов и догматиков приобретает глобальный характер, оказывается чем-то вроде онтологической константы, так что иногда возникает даже искушение говорить об особых антропологических типах либерала, консерватора, коммуниста и т. п. С какой стороны эту оппозицию ни рассматривать, она принимает видимость вечной борьбы добра со злом — борьбы тех, кто стойко сохраняет верность добру, с предателями идеалов (если оппозиция рассматривается с догматической точки зрения), или борьбы смелых новаторов, адептов прогресса с темными силами реакции и мракобесия (если она рассматривается с либеральной точки зрения).

Очевидно, что если такая схема является господствующей парадигмой рассмотрения и оценки всех социальных феноменов, то о советском консерватизме как

исторически реальном феномене не может быть и речи. Догматизм, в силу революционной генеалогии марксистской догматики, не может использовать это понятие, так как оно несовместимо с господствующей идеологией. С догматической точки зрения консерватизм может быть только историческим феноменом, имеющим интерес только в перспективе изучения прошлого. С либеральной точки зрения консерватизм становится предельно расплывчатым понятием, так как сторонники либерализма относят к консерваторам всех, кто не является их союзниками. Обращаясь к истории советского периода, историки-либералы стремятся найти признаки реального или мнимого либерализма в действиях политиков, деятелей культуры, науки, а там, где такие признаки не удается обнаружить, они констатируют безраздельное господство догматизма. Такая «методология» изживает себя очень медленно, и следует отметить, что положительную роль в отмирании такого методологического либерализма играет увлечение исследовательскими техниками постмодерна. Имеется ввиду установка методологического арсенала постмодерна на тотальную деконструкцию, на редуцирование серьезности историко-культурных феноменов до уровня бесцельной игры. Негативная сила такой установки оборачивается позитивной стороной, так как разрушает устоявшиеся схемы и оценки. Оппозиция догматиков и либералов порождает и поддерживает атмосферу нетерпимости к инакомыслию, в то время как характерная для постмодерна склонность к игре в этой атмосфере утверждает принципы плюрализма и свободы. Осмеивая любой авторитет, методологические техники постмодерна учат избегать *argumentum ad hominem* и *argumentum baculinum*.

Однако нельзя не признать, что ситуация изменяется медленно. Отечественный либерализм отличается тем, что идеал свободы распространяется только на либералов. В их исторические представления не уместается тот факт, что формы русского консерватизма, известные отечественной истории, никогда не были связаны с догматизмом и с идеологией охранительства и что само существование русского консерватизма стало возможным только вследствие высокого уровня интеллектуальной свободы. Более того, либеральные историки не могут отказаться от представления, что идейная борьба обязательно должна предполагать открытое утверждение или открытое отрицание той или иной позиции. Такое представление заранее исключает возможность борьбы идей в истории советского периода, так как, согласно убеждениям историков-либералов, такая борьба могла выражаться либо в отрицании господствующей идеологии, либо в ее утверждении. Такой подход нельзя назвать диалектическим в силу его односторонности, а также в силу того, что все возможные промежуточные формы заранее отвергаются. Разумеется, борьба идей в советский период истории была связана с утверждением господствующей идеологии и поэтому неизбежно происходила только внутри этой идеологии. В то же время то, что в глазах историков-либералов имело характер внешнего отрицания господствующей идеологии, например диссидентство, при более внимательном рассмотрении может оказаться органичным порождением самой этой идеологии.

Изучение истории советского периода является не только задачей исторической науки, но и одним из важнейших инструментов формирования национального самосознания. Без изучения этой истории невозможно постичь смысл советского периода инобытия России, дать ему верную оценку и извлечь все необходимые

уроки для будущего развития. Разумеется, в России XX столетия термин «консерватизм» имел иное значение, нежели в XIX в. Иное уже в силу того, что на XX в. пришлось несколько революций и две мировые войны, т. е. такие события, которые едва ли можно признать способствующими утверждению идеалов стабильности и порядка. Но потребность в обеспечении порядка, в утверждении надежного и стабильного общественного строя никуда не исчезла, и тот факт, что в советский период Россия столкнулась с большим количеством внешних и внутренних угроз, возможно, лишь усиливает общественную потребность в консервативном мировоззрении, нацеленном на сохранение традиционных идеалов и норм. Советская государственность существовала почти столетие, и за этот период естественным образом возникли охранительные тенденции — как те, что опирались на марксистскую идеологию, так и те, что ориентировались на традиции дореволюционной государственности. Эта естественная двойственность вызывает некоторые вопросы относительно природы советского консерватизма. Имеем ли мы в его лице самобытный, в чем-то даже уникальный феномен, или же это только форма прежнего русского консерватизма, скрывающая свое истинное содержание за внешней оболочкой, в силу необходимости принявшей новые идеологические формы? Если же это разные формы отечественного консерватизма, то какая связь существует между ними? И не в том ли, что связывает эти две формы, отражаются те абсолютные ценности и идеалы, в которых исследователь может обнаружить сущность консерватизма вообще? И советский, и дореволюционный консерватизм связывают такие ценности, как убеждение в необходимости сильного государства, патриотизм, бескорыстное служение Родине, защита семьи, традиций, нравственности и т. д. Нельзя не заметить, что все эти ценности постепенно выходят на первый план даже в официальной советской идеологии, и своеобразие советского консерватизма заключается в том, что они довольно мирно сосуществуют с марксистскими идеями, весьма далекими от традиционного представления о консерватизме. В то же время именно это сосуществование консервативных ценностей и марксистских идей предопределяет противостояние дореволюционному консерватизму, так как идея возврата к прошлой России является заведомо неприемлемой. Консервативная идеология, определявшая стремления и чаяния эмиграции, рассматривалась как враждебная советскому консерватизму. Заметим, что такого рода двойственность в целом соответствует определению консерватизма, принадлежащему А. С. Хомякову: «Консерваторство есть непрерывное усовершенствование, всегда опирающееся на очищающую старину» [5, с. 21]. «Очищающая старина» — это весьма изменчивое понятие, содержание которого формируется путем селекции исторических фактов дореволюционного прошлого. Вместе с тем сама эта изменчивость может быть охарактеризована двояко: и как признак уже упомянутого ситуационного консерватизма, выражающегося в негативной реакции на различные новшества с позиций определенного консервативного идеала, и как признак элементарного охранительства, заключающегося в стремлении некоторых социальных страт сохранить за собой определенные сословно-бюрократические преимущества. Впрочем, данное разнообразие можно объяснить тем обстоятельством, что консерватизм всегда характерен для различных социальных групп, и поэтому в советский период носителями консервативного мировоззрения были не только представители правящей номенклатуры, но и другие слои населения.

Как исторический феномен советский консерватизм формируется в 30-е годы. Первые признаки начала его формирования — возвращение к традиционным нормативам семейной жизни в государственной политике и постепенный, но бесповоротный отказ от различного рода экспериментов в образовании и в воспитании. Иногда именно в этом видят поворот сталинской системы к дореволюционному монархическому режиму. Характерным примером может служить оценка 30-х годов Г. П. Федотовым: «Россия, несомненно, возрождается материально, технически, культурно. ... Одно время можно было бояться, что сознательное разрушение семьи и идеала целомудрия со стороны коммунистической партии загубит детей. Мы слышали об ужасающих фактах разврата в школе, и литература отразила юный порок. С этим, по-видимому, теперь покончено... Школы подтянулись и дисциплинировались. Нет, с этой стороны русскому народу не грозит гибель... строится, правда, очень элементарное, но уже нравственное воспитание. Порядок, аккуратность, выполнение долга, уважение к старшим, мораль обязанностей, а не прав — таково содержание нового послереволюционного нравственного кодекса. Нового в нем мало. Зато много того, что еще недавно клеймилось как буржуазное... В значительной мере реставрировано десятое слово. Правда, по-прежнему с приматом социального, с принесением лица в жертву обществу, но и лицо уже имеет некоторый малый круг, пока еще плохо очерченный, своей жизни, своей этики: дружбы, любви, семьи. И тот коллектив, которому призвана служить личность, уже не узкий коллектив рабочего класса — или даже партии, а нации, родины, отечества, которые объявлены священными. Марксизм — правда, не упраздненный, но истолкованный — не отравляет в такой мере отроческие души философией материализма и классово-ненависти. Ребенок и юноша поставлены непосредственно под воздействие благородных традиций русской литературы. Пушкин, Толстой — пусть вместе с Горьким — становятся воспитателями народа. Никогда еще влияние Пушкина в России не было столь широким. Народ впервые нашел своего поэта. Через него он открывает собственную свою историю» [6, с. 108–109].

В политической сфере советский консерватизм давал о себе знать в великодержавном внешнеполитическом курсе, в роспуске Коминтерна, нацеленного на реализацию всемирной революции, в восстановлении института патриаршества и в некоторых других шагах. Однако вряд ли в них можно увидеть реализацию осознанной стратегии глобального восстановления, о котором выше шла речь. Только «осознав, что назревающая война будет по существу войной не фашизма против большевизма, но Германии против России, Сталин, естественно, стал думать о необходимости “мобилизации” именно России, а не большевизма. По-видимому, именно в этом и заключалась главная причина сталинской поддержки той “реставрации”, которая так или иначе, но закономерно совершалась в 1930-х годах в самом бытии страны (а не в личной политической линии Сталина, которая ее только “оформляла”)» [7]. Ретроспективно такую патриотическую мобилизацию можно рассматривать как нацеленную на реставрацию ценностей дореволюционной эпохи, и вполне вероятно, что сам Сталин и его ближайшее окружение именно так задачи этой мобилизационной политики и понимали. Тем не менее патриотическая мобилизация не предполагала отказа от ценностей и идеалов революции, скорее, наоборот, она воспринималась в качестве политики их реализации. Поэтому новая

форма консерватизма оказывалась результатом синтеза традиционных ценностей русской державности и революционных идеалов.

Великая Отечественная война может рассматриваться в качестве самого важного этапа формирования советского консерватизма. Победа в этой войне многократно увеличила международный престиж СССР, превратила страну в сверхдержаву. Помимо этого, война породила новую героическую мифологию, ставшую основанием для возвеличивания государства. Фигура Сталина теперь сопоставлялась с Иваном Грозным или Петром I, приобретая космические масштабы исторического деятеля, которому подвластны все силы природы и все тайны человеческого духа. Другой важнейший компонент советского консерватизма, свойственное ему специфическое охранительство, полноценно заявляет о себе уже после смерти Сталина. Решающая роль в генезисе этого компонента принадлежит XX съезду КПСС, вошедшему в историю главным образом как съезд, на котором был разоблачен культ личности Сталина. Однако на деле это разоблачение очень скоро было компенсировано возвеличиванием личности Ленина, которому в господствующей идеологии начали приписывать черты человекобога. Образ Ленина превратился в образ мифического основателя новой государственности, на него начали возлагаться те функции, которые во всех мифах связываются с фигурой первопредка. Даже отстранение Хрущева от власти обычно рассматривается как признак победы консервативного мировоззрения в среде высшей партийной элиты, как результат ее сопротивления хрущевским реформам и как стремление сохранить привычный ей порядок вещей. Термин «волюнтаризм», которым партийная элита обозначила политику Хрущева после его отстранения, самым удачным образом передает консервативные умонастроения, господствовавшие в высших партийных кругах. Но еще более показательным индексом консервативного мировоззрения является термин, обозначавший период, следовавший за эпохой хрущевских реформ, — «застой». И хотя этот термин нес в себе негативную оценку, свидетельствующую о позициях, противоположных консерватизму, идею, что в эту эпоху господствующими были именно консервативные тенденции в развитии общества, он передает весьма удачно.

Советский консерватизм связан с целым рядом изменений в сфере культуры и идеологии. Следствием сталинской модернизации стали обязательное образование и всеобщая грамотность населения. Однако если европейская модернизация ориентировалась на свободного и самостоятельного в экономическом смысле индивида, то с идеалами новой власти в России такой независимый индивид был несовместим. В установившихся общественных отношениях можно увидеть сбывшееся пророчество К. Н. Леонтьева, который был убежден, что результатом «эмансипационного прогресса» «явится... рабство в новой форме, вероятно — в виде жесточайшего подчинения лиц мелким и крупным общинам, а общин государству. Будет новый феодализм — феодализм общин, в разнообразные и неравноправные отношения между собой поставленных» [8, с. 495]. Новый советский человек был близок не автономному европейскому индивиду, а крестьянину из отечественной истории прошлого века. На самом деле это и был вчерашний крестьянин из сельскохозяйственной общины, переехавший в город, работающий там на промышленном предприятии и получивший несколько более качественное образование. Что касается «глубинных принципов социального существования, внутреннего

мира, механизмов детерминации поведения, он остается все тем же пассивным и непритязательным “человеком для...”, стандартным винтиком социалистической машины, неотличимым от другого такого же винтика» [2, с. 178]. Коллективистские крестьянские добродетели не противоречили росту образования, не препятствовали приобщению к науке и культуре. И хотя количество школ, вузов, библиотек, музеев, театров значительно выросло, советская культурная революция имела ярко выраженную антиэлитарную направленность, а идеалам интеллектуальной и художественной свободы отводилась явно второстепенная роль. Кроме того, хотя образование, которое получал советский гражданин, имело в качестве обязательного компонента научный атеизм, сохранявшийся в культурно-генетическом коде крестьянский коллективизм приводил к тому, что на смену старой христианской вере приходило не рациональное мировоззрение, а новая вера. Эту новую веру господствующая коммунистическая идеология активно эксплуатировала, поскольку и она сама стремилась «быть религией, враждебной христианству... ответить на религиозные запросы человеческой души, дать смысл жизни» [9, с. 384].

И все же постепенно урбанизация и свойственный ей утилитарный образ жизни все в большей и большей мере распространялись на повседневную жизнь рядовых советских людей. Если на раннем этапе советской модернизации это было «общество “низшего класса” с... унифицированным образом жизни, низким средним уровнем профессиональных сфер культуры» [10, с. 96], то затем постепенно изменялись семейный быт, методы воспитания детей, повышался уровень потребления. Соборный коллективизм уходил в прошлое, и советское общество становилось таким же, как и в Европе, обществом атомизированных индивидов. Отрицание соборного коллективизма и патриархальной семьи доходило до такой степени, что в первые годы советской власти вполне серьезно полагали, что вместе с частной собственностью будет уничтожена и семья, так как это такой же буржуазный институт. Но спустя десятилетие традиционные семейные ценности вернулись на свое место, какое-то время были даже запрещены аборт и браки с иностранцами. Во второй половине XX в. советская семья уже мало чем отличается от типичной европейской семьи и характеризуется аналогичными демографическими показателями — сокращением рождаемости и сокращением количества детей в семье, ростом средней продолжительности жизни и т. д.

Распространено убеждение, что политическая система в годы сталинской модернизации была авторитарной, репрессивной и значительно отставала от европейских политических режимов. На первый взгляд, это отставание подтверждается отсутствием парламентаризма, отсутствием многопартийной системы и декоративным характером конституции. Однако демократическая система англо-американского типа хотя и становится преобладающей во второй половине XX столетия, вовсе не является неким «вечным» идеалом политического устройства. Ее следует оценивать с точки зрения тех функций, которые требуется реализовать в данный момент истории. В нашем случае — это потребности процесса модернизации, основной фигурой которого является «горожанин», «буржуа», представитель среднего класса. С точки зрения его интересов гораздо большее значение имеет не наличие представителя в парламенте, а возможность защиты своих интересов в суде или в другой инстанции. Нельзя исключать тот вариант, что англо-американская представительская демократия формировалась уже тогда, когда была развита судебная

система, а также иные формы и институты защиты интересов «горожанина». Без этих институтов представительская демократия превращается в орудие господства олигархических группировок. С этой точки зрения советская политическая система, если ее сравнивать с постсоветской, была гораздо более демократичной (при условии, что сам средний класс находился на начальной стадии формирования). Судебная система была, при всех оговорках, более доступна и более эффективна (несмотря на периодически вспыхивавшие кампании по борьбе с «сутяжничеством»); кроме нее, существовали и иные институты (партийные комитеты, вышестоящие ведомственные организации), призванные защищать «советского гражданина». Подчас обращение в эти инстанции было более эффективно, чем судебный процесс, и хотя на начальном этапе гласности очень много иронизировали, что письма с жалобами переправляются тому, на кого жалуются, такая защита интересов должна быть признана демократичной (хотя и не знакомой европейским демократиям), так как она всегда предполагала коллегиальное рассмотрение вопроса. Все эти институты защиты прав были разрушены, взамен было предоставлено право обращения в суд, но фактически этим правом нельзя воспользоваться, поскольку суды работают настолько плохо, что можно сказать, что их почти не существует.

Если термин «застой» передает идею отсутствия движения, то более подходящим образом для брежневских десятилетий была бы идея инерционного движения. Инерционное движение — это движение постепенно затухающее, все дальше и дальше отходящее от того первотолчка, который был его причиной. Тем не менее если термин «застой» говорит об отсутствии движения вообще, то это не вполне верная характеристика брежневской эпохи. Инерционное движение может продолжаться очень долго, и эта длительность сообщает общественному развитию определенную надежность, хотя и довольно хрупкую. О том, что это движение далеко отошло от изначальной точки, свидетельствует тот факт, что в брежневские десятилетия особое значение приобретают ритуалы и технологии коммеморации, призванные сохранить память о славном героическом прошлом. Главные объекты коммеморации — победа в мировой войне и истоки советской цивилизации. Брежневская эпоха перенасыщена открытиями новых памятников и музеев, которые наделяются даже большей реальностью, чем социальные институты самой действительности. Однако это тяготение к прошлому несло в себе явное противоречие, так как само общество, истоки которого становились объектом мемориального поклонения, возникло на идее радикального отрицания всего «старого» мира, а вместе с ним — и на идее отрицания прошлого. В то же время это прошлое постоянно давало о себе знать в виде разнообразных пережитков, от которых требовалось постоянно избавляться. «Всю историю Советского Союза можно уподобить знаменитому фрейдовскому образу Рима, города, история которого накладывается на его настоящее в виде различных пластов археологических остатков, каждый новый уровень не перекрывает предыдущий полностью, подобно (другая модель) семи пластам Трои, так что история, обращаясь к прежним эпохам, действует подобно археологу, открывающему новые пласты, погружаясь в землю все глубже и глубже. Не была ли (официальная идеологическая) история Советского Союза таким же средоточием исключений, превращения людей в нелюдей, ретроактивного переписывания истории? Вполне логично, что “десталинизация” сопровождалась обратным процессом “реабилитации”, признания “ошибок” прежней политики партии...

Примечательно, однако, что единственной фигурой, которую не реабилитировали ни коммунисты, ни антикоммунистически настроенные русские националисты, был Троцкий: Троцкий, “вечный жид” Революции, подлинный антисталинист, заклятый враг, противопоставляющий идею “перманентной революции” идее “построения социализма в одной отдельно взятой стране”. Возникает соблазн провести здесь параллель с фрейдовским различием между первовытеснением и вторичным вытеснением в бессознательное: исключение Троцкого — это нечто вроде “первовытеснения” советского государства, что-то, что не может быть признано в процессе “реабилитации”, поскольку весь Порядок основывается на этом негативном жесте исключения» [11].

Последнее обстоятельство, характеризующее природу свойственного советскому обществу отношения к прошлому, безусловно, противоречит классическому представлению о консерватизме, который включает в себя две стороны: стремление к стабильности и к поддержанию порядка и ориентацию на традицию как на хранилище абсолютной истины. Революционная генеалогия советского консерватизма с самого начала ставит под сомнение искренность его стремления к стабильности. Опора на традицию также оказывается малопродуктивной, так как точка отсчета этой традиции, совпадающая с революцией, не позволяет говорить о ее укорененности в далеком прошлом. Советский консерватизм допускал некоторую апелляцию к русской истории, но она всегда имела ограниченный характер. Яркий пример — романы В. Пикуля, «реабилитировавшие» дореволюционную историю для среднего читателя, но нередко черпавшие знание о ней из квазинаучных исследований 20-х годов о вырождении царской династии.

В силу этих и других причин советский консерватизм был ограничен ориентацией на самое ближайшее прошлое. Изучение этого феномена дает тот позитивный вывод, что наряду с подлинным, проективным, творческим консерватизмом возможен и консерватизм ложный и даже разрушительный. «Ложный, косный консерватизм не понимает творческой тайны прошлого и ее связи с творческой тайной грядущего. Поэтому обратной стороной его является истребляющий прошлое революционизм. Революционизм есть кара, подстерегающая ложный консерватизм, изменивший творческому преданию. В революционизме торжествует хамизм, дух *parvenu*. В истинном же консерватизме есть благородство древнего происхождения. Историческая давность имеет религиозную, нравственную и эстетическую ценность. Благородство освященной старины все принуждены признать в лучшие минуты жизни, когда освобождаются от угара сегодняшнего дня. Но эта ценность и это благородство давнего, древнего старинного, векового и тысячелетнего есть ценность и благородство преображения духом вечности, а не инерции, косности и окостенения. Мы религиозно, нравственно и эстетически почитаем во всем давнем и старинном жизнь, а не смерть, жизнь большую, чем быстротечные мгновения сегодняшнего дня, в которых бытие не отделено еще от небытия, крупички нетленного смешаны с огромным количеством тленного» [12, с. 380].

Истинный консерватизм предполагает не неизменность, но сохранение целого в его здоровье и жизненности. Такое сохранение не исключает изменчивости, так как жизненная субстанция остается живой только в том случае, если она движется. Консерватизм отвергает разрушительные аспекты изменчивости, отвергает изменение ради самого изменения, создание нового ради самого нового. Если СССР

представлял собой историческую форму инобытия России, то та жизненная субстанция, которую необходимо было сохранить, была «идеальным государством», или, что то же самое, Великой Россией. В той мере, в какой в советском консерватизме осознавались существование этой субстанции, необходимость ее сохранения, в той мере эта форма консерватизма обладала истинным содержанием. Но такое осознание истинной субстанции могло произойти только в рядах той социальной группы, чьей функцией и является формирование национального самосознания, т. е. в рядах интеллигенции. Однако в силу множества различных причин русская интеллигенция, как дореволюционная, так и советская, была неспособна сформировать национальное самосознание.

Такого рода претензии, адресованные интеллигенции, были сформулированы еще в известном сборнике «Вехи». «“Веховцы” предлагали положить в основу нового мировоззрения “идею нации взамен интеллигенции и классов”. Они выступали в роли апологетов так называемого “здорового” великорусского национализма, поднимали на щит лозунги “государственности” и создания “Великой России» [13, с. 13]. Аналогичные идеи отстаивал и Т. Масарик, утверждавший, что интеллигенция должна «поддерживать единство Российского государства, что интеллигенции не следует путать государство и правящую бюрократию, что отчизна — вовсе не абсолютная монархия... Русская национальность, русский язык, русская культура должны служить связующим звеном между всеми народами империи. Государство должно защищать русское большинство от националистических... меньшинств. Интеллигенция должна принять идеал “Великая Россия”: сильное государство, которое должно противостоять внешнему миру... Именно поэтому русская интеллигенция должна проникнуться идеей государственности, а для этого нужно отбросить... радикализм» [14, с. 216–217].

Возвращение от инобытия России к ее самобытию — самая актуальная задача наших дней. Самобытие — это бытие-для-себя, и поэтому цель, стоящую в настоящий момент перед Россией и русскими, можно сформулировать так: учиться быть для себя.

Литература

1. Арсланов В. Г. К читателю этой книги // Лифшиц М. А. Что такое классика? М.: Искусство — XXI век, 2004. С. 7–30.
2. Вишневский А. Г. Серп и рубль: консервативная модернизация в СССР. М.: ОГИ, 1998. 432 с.
3. Надточий Э. В. Тимур и его агсапе: социально-антропологическое значение советской революции «детства» в 1920–30-е годы // Социология власти. 2014. № 3. С. 81–98.
4. Лифшиц М. А. Что такое классика? М.: Искусство XXI век, 2004. 512 с.
5. Хомяков А. С. Полное собрание сочинений: в 8 т. М.: Университетская типография на Страстном бульваре, 1900. Т. 8. 543 с.
6. Федотов Г. П. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры: в 2 т. СПб.: София, 1991. Т. 2. 348 с.
7. Кожин В. В. Контрреволюция, осуществляемая «по-революционному»... // Социальная история общественной науки: электронная библиотека и архив. URL: <http://old.ihst.ru/projects/sohist/papers/kojinov.htm> (дата обращения: 01.08.2018).
8. Леонтьев К. Н. Чем и как либерализм наш вреден? // Леонтьев К. Н. Избранное. М.: РОССПЭН, 2010. С. 483–503.
9. Бердяев Н. А. Мировоззрение Достоевского. М.: АСТ, 2006. 254 с.
10. Модернизация в России и конфликт ценностей / отв. ред. С. Я. Матвеева. М.: ИФРАН, 1994. 250 с.

11. Жижек С. Тринадцать опытов о Ленине // Критическая масса. 2003. № 2. URL: <http://magazines.russ.ru/km/2003/2/zhzh.html> (дата обращения: 01.08.2018).
12. Бердяев Н. А. Философия неравенства. М.: Институт русской цивилизации, 2012. 624 с.
13. Шелохаев В. Предисловие // Вехи: Интеллигенция в России: сборник статей 1909–1910. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 5–21.
14. Масарик Т. Г. Либерализм // О свободе. Антология мировой либеральной мысли (первая половина 20 века). М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 201–219.

Статья поступила в редакцию 7 августа 2018г.;

рекомендована в печать 3 октября 2018 г.

Контактная информация:

Камнев Владимир Михайлович — д-р филос. наук, проф.; kamnevladimir@yandex.ru

Камнева Лолита Сергеевна — канд. филос. наук, доц.; l.kamneva@spbu.ru

The phenomenon of the Soviet conservatism: historiosophical justification*

V. M. Kamnev, L. S. Kamneva

St. Petersburg State University,

7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

For citation: Kamnev V.M., Kamneva L.S. The phenomenon of the Soviet conservatism: historiosophical justification. *Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies*, 2019, vol. 35, issue 1, pp. 43–55. <https://doi.org/10.21638/spbu17.2019.104> (In Russian)

In the article Mikh. Lifshitz's project of "great restoration" (Restauratio Magna) is considered in the horizon of more general process covering in the Soviet Russia of the 1930th all spheres of public life from economy to philosophy and art. The total understanding of this global process of restoration of classical ideals and traditional norms was formed in the 30th years only by Mikh. Lifshitz and in a circle of his supporters. Considered the phenomenon of the Soviet conservatism is also born in this process of restoration. Studying this phenomenon, its estimation is important for the humanities because it allows getting rid of unilateral approaches. In the article similarities and distinctions of pre-revolutionary and Soviet forms of conservative outlook are disclosed. The originality of the Soviet conservatism is that it is longtime quite peacefully coexists with the Marxist ideas which are very far from the traditional idea of conservatism. At the same time, this coexistence of conservative values and the Marxist ideas predetermines opposition to pre-revolutionary conservatism because the idea of a return to last Russia is unacceptable. The first signs of the beginning of the formation of the Soviet conservatism are returned to traditional norms of family life in state policy and gradual, but the irrevocable refusal of different experiments in education and upbringing. In the political sphere, the Soviet conservatism had an effect on a great-power foreign policy, on the dissolution of the Komintern aimed at the realization of the world revolution, in the restoration of an institute of the patriarchy and on some other steps. The phenomenon of the Soviet conservatism played an important role in mobilization policy of the state both during the world war and after it.

Keywords: conservatism, Marxism, ideology, dogmatism, liberalism.

* The research has been performed within the grant of Russian Foundation for Basic Research No. 18-011-01042 "Conservative ideas in the Soviet philosophy and the literature (M. A. Lifshits's circle)".

References

1. Arslanov, V. G. (2004), “K chitatelju etoi knigi” [To reader of this book], in Lifshits, M. A. *Chto takoe klassika?* [What is classic?], Iskusstvo — XXI vek [Art of XXI century], Moscow, Russia, pp. 7–30.
2. Vishnevskii, A. G. (1998), *Serp i rubl': konservativnaia modernizatsiia v SSSR* [Sickle and rouble: conservative modernization in USSR], OGI Publ., Moscow, Russia.
3. Nadtochii, E. V. (2014), “Timur i ego arcane: sotsial'no-antropologicheskoe znachenie sovetskoi revoliutsii “detstva” v 1920–30-e gody” [Timur and his arcane: social and anthropological meaning of soviet revolution of childhood in 1920–1930s], *Sotsiologiia vlasti*, no. 3, pp. 81–98.
4. Lifshits, M. A. (2004), *Chto takoe klassika?* [What is classic?], Iskusstvo — XXI vek [Art of XXI century], Moscow, Russia.
5. Khomiakov, A. S. (1900), *Polnoe sobranie sochinenii* [Completed Works], in 8 vols. Universitetskaiia tipografiia na Strastnom bul'vare, Moscow, vol. 8.
6. Fedotov, G. P. (1991), *Sud'ba i grekhi Rossii. Izbrannye stat'i po filosofii russkoi istorii i kul'tury* [The destiny and sins of Russia. Selected articles], in 2 vols. Sofiia Publ., St. Petersburg, Russia.
7. Kozhinov, V. V. (1998), “Kontrevoliutsiia, osushchestvliamaia ‘po-revoliutsionnomu’” [Contrrevolution realized “revolutionary”], in *Sotsial'naia istoriia obshchestvennoi nauki: elektronnaia biblioteka i arkhiv* [Social history of social science: electronic library and archive], available at: <http://old.ihst.ru/projects/sohist/papers/kojinov.htm> (Accessed 1 August 2018).
8. Leont'ev, K. N. (1996), “Chem i kak liberalizm nash vreden?” [By what and how our liberalism is harmful?], in Leont'ev, K. N. *Izbrannoe* [Selected works], ROSSPEN, Moscow, Russia.
9. Berdiaev, N. A. (2006), *Mirosozertsanie Dostoevskogo* [Dostoevsky's worldview], AST Publ., Moscow, Russia.
10. Matveeva, S. Ia. (ed.) (1994), *Modernizatsiia v Rossii i konflikt tsennopei* [The modernization in Russia and conflict of values], IFRAN, Moscow, Russia.
11. Žižek, S. (2003) “Trinadtsat' opytov o Lenine” [The thirteen essays about Lenin], *Kriticheskaiia masa*, no. 2, available at: <http://magazines.russ.ru/km/2003/2/zhzh.html> (Accessed 1 August 2018).
12. Berdiaev, N. A. (2012), *Filosofia neravenstva* [The philosophy of inequality], Institut russkoi tsivilizatsii, Moscow, Russia.
13. Shelokhaev, V. (1991), “Predislovie” [Preface], in *Vekhi: Intelligentsiia v Rossii: sbornik statei 1909–1910* [The landmarks: intelligentsia in Russia: Collected articles 1909–1910], Molodaia gvardiia, Moscow, Russia.
14. Masarik, T. G. (2000), “Liberalizm” [Liberalism], in *O svobode. Antologiiia mirovoi liberal'noi mysli (pervaia polovina 20 veka)* [About liberty. Anthology of world liberal thought (the first half of XX century)], Progress-Traditsiia, Moscow, Russia.

Received: August 7, 2018

Accepted: 3 October, 2018

Author's information:

Vladimir M. Kamnev — Dr. Sci. in Philosophy, Professor; kamnevladimir@yandex.ru

Lolita S. Kamneva — PhD, Associated Professor; l.kamneva@spbu.ru